

Поэтическое *мы* от авангарда 1920-х годов
до новейшей политической поэзии *

К. М. Корчагин

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ИМЕНИ В. В. ВИНОГРАДОВА РАН

Аннотация. В русской поэзии XX в. можно проследить специфическое употребление местоимения *мы*, которое, по всей видимости, связано с глубоким вовлечением ряда поэтов в марксистский интеллектуальный проект – и в тех случаях, когда они присягали ему (как Эдуард Багрицкий, Борис Слуцкий, а позднее – Кирилл Медведев), и в тех случаях, когда они были настроены по отношению к нему полемически или резко враждебно (Виктор Кривулин и отчасти Оксана Васякина). Так, в стихах Багрицкого ощущение постреволюционного времени с характерной для него памятью о жестокости Гражданской войны и энтузиазмом конституировало особое *мы*, потенциально объединяющее всех людей новой эпохи, разделяющих важность советского проекта. Такое *мы* обозначало особую открытую общность и противопоставлялось «партийному» *мы*, референтом которого выступал узкий круг. Формула «партийного» *мы* родственна формуле «инклюзивного» *мы* Бенвениста ($мы = я + ты$), но в нем происходит перекодировка второго элемента формулы – местоимения *ты*, которое начинает пониматься как умножение и даже клонирование *я* ($ты = я + я + \dots + я$), причем *я* здесь обретает максимально обобщенную природу, освобожденную от элементов индивидуального опыта. Представление о коллективной субъективности в советском марксизме разрабатывалось в эмпириомонизме Александра Богданова – учении о коллективном субъекте, который структурируется коллективным опытом и организованным трудом. Наиболее прямолинейно такое *мы* интерпретировалось

* Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской Федерации МД-6378.2018.6 «Взаимодействие авангардного поэтического и политического дискурсов (на материале русского и европейских языков)» в Институте языкознания Российской академии наук.

Корчагин К. М. Поэтическое *мы* от авангарда 1920-х годов до новейшей политической поэзии // Критика и семиотика. 2019. № 2. С. 378–391.

в поэзии Пролеткульта, а затем было радикальным образом реформировано Багрицким и некоторыми другими поэтами его времени, которые заменили общность трудового опыта общностью опыта исторического. За сто лет, прошедших с русской революции, новейшая политическая поэзия, изобретая коллективного субъекта, во многом приходит к тому же, что и поэзия первой четверти XX в. – к *мы*, основанному на общем опыте, прежде всего опыте утраты (например, в поэзии Оксаны Васякиной). Такое *мы* словно бы занимает промежуточную позицию между коллективным субъектом в эмпириомонизме Богданова, потенциально включающим всех людей, и «партийным» *мы*, строго соблюдающим границы заранее очерченного сообщества.

Ключевые слова: политическая поэзия, русский марксизм, Александр Богданов, Эдуард Багрицкий, Кирилл Медведев, Оксана Васякина, современная поэзия, лингвистическая поэтика, местоимение «мы».

УДК 821.161.1

DOI 10.25205/2307-1737-2019-2-378-391

Контактная информация: Корчагин Кирилл Михайлович, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (ул. Волхонка, 18/2, Москва, 119019, Россия, stivendedal@gmail.com)

В книге «Внутренняя форма слова» (1927), посвященной интерпретации одноименной концепции Вильгельма фон Гумбольдта, одного из отцов современного языкознания, Г. Г. Шпет уделяет большое внимание устройству поэтического текста. С его точки зрения, субъект такого текста может рассматриваться как своего рода *внутренняя форма* – структура, которая лежит в основании высказывания и благодаря которой последнее может разворачиваться вовне. Это текучая категория, которая никогда не проявляет себя в законченном виде – в каждом произведении она конструируется заново и в каждом существует уже как целостность [Шпет, 1927, с. 196].

Среди всех элементов поэтического текста, предполагающих выражение субъективности, местоимения занимают одно из центральных мест. Очевидно, что при употреблении местоимений первого лица легче всего говорить о тех чертах, которыми обладает субъект, хотя категория субъективности и не сводится к одним лишь местоимениям. Спустя почти пятьдесят лет после Шпета И. И. Ковтунова связывала субъекта поэтического текста («лирического субъекта» в ее терминологии) с конструированием «точки зрения говорящего» [Ковтунова, 1986, с. 18], определение которой должно проводиться при помощи анализа того, как распределяются по стихотворению местоимения и дейктические элементы. При этом она допускала принципиальное «расширение» субъекта, его «распределение» по всему стихотворению, в силу которого анализ местоимений становится затрудненным или неэффективным, описывая это как «рост масштабов лирического я, которое в равной степени охватывает мир внутренний и мир внешний, разрушая границы между ними» [Там же].

Особую роль в учении Шпета о внутренней форме играло представление о социальности любого слова, а следовательно, и любой субъективности. Эта мысль находит очевидные параллели у других мыслителей эпохи – например, в книге «Марксизм и философия языка» (1929), изданной под именем В. Н. Волошинова

и отражающей идеи, циркулировавшие в круге М. М. Бахтина [Вельмезова, 2014, с. 197–221]. Согласно Волошинову, любое слово и любое творчество – «идеологично», а «[о]бласть идеологии совпадает с областью знаков» [Волошинов, 1930, с. 15]. И хотя Шпет и Волошинов – мыслители с принципиально разным бэкграундом, они сходятся в вопросе о социальности слова, совпадая при этом с художественной практикой эпохи, которая была одержима политическим – присягая ему (как поэты ЛЕФа или ЛЦК) или, напротив, избегая его, стремясь подспудно переопределить рутинные понятия политического языка (как это происходило в группе обэриутов, первое и единственное публичное выступление которых проходило под вывеской «Три *левых* часа» [Мейлах, 2018, с. 364]).

Но если каждое слово и каждая субъективность социальна, то можно говорить об особой «политике местоимений», которая может быть проанализирована двойко – и как строительный материал для субъективности, и как повод для того, чтобы обратиться к истории идей, проследив, каким именно образом может происходить «политизация» местоимений и как их значение может меняться со временем. При этом по отношению к поэзии, эксплицитно создающейся как политическая, подобные вопросы звучат еще более остро: в такой поэзии «политика в себе», в принципе присущая любому литературному высказыванию, превращается в «политику для себя», а поэтический текст может быть прочитан как адресованный *urbi et orbi* [Азарова 2014].

Нечто похожее на такое понимание политики местоимений можно найти и в той версии лингвистической поэтики, которую развивала О. Г. Ревзина: исследование местоимений, референтом которых выступает субъект поэтического текста и, в первую очередь, местоимения первого лица, занимало в ней ключевое место (см. [Ревзина, 1998] и другие работы). В этом, так называемом «системно-функциональном подходе» впервые была замечена ограниченность метода «классической» лингвистической поэтики: сосредоточенная на анализе конкретных контекстов и коллокаций, она не способна в полной мере отразить свойственную поэзии XX в. «расщепленность» субъекта – тот факт, что субъект не может быть назван «источником и хозяином своего дискурса» [Там же, с. 16]. В вопросе о расщепленном субъекте лингвистическая поэтика смыкается с философской герменевтикой, но если последняя движется «дедуктивно», от общих концепций к конкретным текстам, то первая, напротив, предпочитает «индуктивное» движение, когда обобщения делаются на основе анализа текстов. Здесь один шаг до дисциплины, которую обычно обозначают как историю идей (*conceptual history*) или историю понятий (*Begriffsgeschichte*)¹, – до вопросов о «политике местоимений» и о том, как те или иные факты культуры могут кодироваться языковыми элементами.

Сюжет о поэтическом *мы* в этом контексте представляет особый интерес по крайней мере по двум причинам. Первая состоит в том, что история этого местоимения отнюдь не сводится к истории местоимения первого лица: еще В. В. Виноградов отмечал, что «[я], ты не имеют множественного числа» и что «мы, вы имеют другие значения», нежели множественное число от я и ты [Виноградов, 1947, с. 330]. Вторая причина в том, что местоимение *мы* занимает важное место в интеллектуальном контексте XX в. – как одна из лексем, отсылающих к опыту

¹ Об этих дисциплинах см. не потерявшую актуальности антологию [История понятий..., 2010].

коллективного переживания политического. Таким образом, здесь важна не только и не столько судьба местоимения *мы*, сколько то, как поэзия реагировала на изменение его статуса в советской и постсоветской культуре, прежде всего в связи с марксистской мыслью, к которой многие поэты с восторгом отнеслись в 1920-е гг. и от которой они стремились оградиться в послевоенное время, чтобы спустя двадцать лет после распада Советского союза во многом снова к ней вернуться. Причем решающая роль в этом движении принадлежала поэтам, родо-словная которых прямо или косвенно восходит к русскому авангарду.

Проследить изменения статуса *мы* можно при помощи различения двух разных типов этого местоимения, сделанного Эмилем Бенвенистом, – «инклюзивного» и «эксклюзивного». Согласно сделанному им разграничению, *мы* – это всегда сочетание «я» и «не-я», и хотя *я* в *мы* «всегда преобладает» и даже «подчиняет» его, различие между разными типами *мы* обуславливаются всегда тем, что остается за пределами *я*. Именно компонент «не-я» способен менять смысл местоимения в целом, позволяя ему адресоваться к принципиально разным типам референта [Бенвенист, 1974, с. 267]. Коротко говоря, инклюзивное *мы* означает «я + вы», а эксклюзивное – «я + они», причем в некоторых языках эти формы могут выражаться разными местоимениями. В русском языке отсутствие формального различия между этими двумя типами референции, среди всего прочего, непосредственно влияет на то, каким образом конструируется субъект поэтического текста, особенно в политической поэзии, где на фоне этих двух типов *мы* выделяется несколько промежуточных типов, которые, возможно, не так важны для теории языка, но принципиальны для описания самой политической поэзии и используемых ею языковых и концептуальных средств.

Со времен Бенвениста лингвистическая наука предлагала и более дробные описания семантики *мы* (см., например, [Норман, 2002, с. 222]), но, кажется, необходимо дополнительное исследование того, как функционирует это местоимение в перспективе истории идей, причем поэзия, предугадывающая многие языковые тенденции, может быть здесь наиболее благодатным материалом. И хотя значение *мы* в политической поэзии нередко достаточно размыто и может изменяться от текста к тексту даже у одного поэта и тем более у поэтов, принадлежащих к разным направлениям и школам, можно говорить о том, что во многих случаях оно вступает в резонанс с мыслью эпохи и позволяет уловить существенные ее черты.

Точку отсчета для описания *мы* в политической поэзии XX в. можно найти в официальном дискурсе, достаточно быстро ставшем общим местом в советской культуре. Уже в романе Евгения Замятина «Мы» (1920), резко оппозиционном по отношению к такому дискурсу, речь идет о коллективном субъекте, вовлеченном в ситуацию непрерывной семантической подмены, при которой индивидуальный опыт, переживаемый *я*, сталкивается с коллективностью *мы*. *Мы* Замятина при всей его условности и карикатурности показывает вырождение коллективного субъекта, которого усиленно искала авангардная политическая поэзия рубежа 1910–1920-х гг., и весьма показательна, что такая «вырожденная» коллективность присутствовала уже в самых ранних образцах советской культуры, восходя, по всей видимости, к большевистскому партийному идеолекту (ср. [Селищев, 2010, с. 97–116]). Это *мы*, описываемое формулой «кто не с нами – тот против нас», также появившейся в первые годы советской власти.

Реакцией на такое понимание *мы* были многие образцы неофициальной поэзии позднейшего времени, неприкрыто полемичные по отношению к властной повестке. В почти формульном виде это было выражено поэтом Владимиром Ковенацким в четверостишии, написанном, по всей видимости, уже в 1970-е гг.:

Я ненавижу слово мы.
Я слышу в нем мычанье стада,
Безмолвье жуткое тюрьмы
И гром военного парада.
[Ковенацкий, 2007, с. 189]

Действительно, *мы* такого типа возникает у многих советских поэтов уже в первые годы революции. Самый характерный пример здесь, конечно, Владимир Маяковский, у которого *мы* едва ли не самое часто из используемых местоимений. Чаще всего оно функционирует как «партийное» *мы* – в строках типа **Мы сомкнутым строем в коммуны идем / и старые, и взрослые, и дети**. По сути, именно на такое употребление реагирует Замятин: для него в партийном *мы* происходит приравнение «ты» к «я», своего рода умножение «я». Формула такого *мы* родственна формуле «инклюзивного» *мы* Бенвениста ($мы = я + ты$), но в нем при этом происходит перекодировка второго элемента формулы – местоимения *ты*, которое начинает пониматься как умножение и даже клонирование *я* ($ты = я + я + \dots + я$), причем *я* здесь обретает максимально обобщенную природу, освобожденную от элементов индивидуального опыта, не вписывающихся в новую коллективность. Такое *мы* адресуется к закрытой группе: в нее можно вступить, но только если принять стоящее за *мы* представление о коллективной субъективности. Предельное выражение такого понимания *мы* можно проиллюстрировать хрестоматийной строкой из незаконченной поэмы Маяковского «Во весь голос» (1930): **Мы диалектику учили не по Гегелю**. За таким *мы* скрыта коллективная субъективность, при которой опыт разных индивидов как бы суммируется, и получающийся таким образом субъект оказывается своего рода средним арифметическим от этого опыта.

Представление о коллективной субъективности в советском марксизме разрабатывалось в эмпириомонизме Александра Богданова и во многом было отражено уже в его романе «Красная звезда» (1905), причем «Мы» Замятина во многих отношениях можно считать пастишем на этот роман. Эмпириомонизм Богданова был учением о коллективном субъекте, который структурируется коллективным опытом и организованным трудом [Карпи, 2016, с. 50–58; Надточий, 2017]. В таком субъекте Богданов видел способ противостоять дроблению человечества на части вследствие специализации, и, видимо, такая программа была близка некоторым поэтам русского авангарда, стремящимся создать нового коллективного субъекта. Наиболее прямолинейно эта задача понималась, по-видимому, теми авторами, которые принадлежали к Пролеткульту, возглавляемому Богдановым в 1917–1920-х гг. [Левченко, 2007], но в той или иной мере она решалась и многими другими советскими поэтами, в том числе и прямыми наследниками исторического авангарда, близкими к Левому фронту искусств (ЛЕФу) или Литературному центру конструктивистов (ЛЦК).

Отличительная черта всех этих практик в том, что при таком, «богдановском», понимании коллективного субъекта местоимение *я* может употребляться почти в том же контексте, что и *мы*. Другими словами, политические поэты первых по-

слереволюционных десятилетий стремятся доступными им средствами выправить асимметрию, присущую значению *мы*, не сводящемуся обыкновенно к умножению *я*, т. е. превратить его в «полноценное» множественное число, такое же, как множественное число существительных и прилагательных. Такое *я*, служащее псевдонимом для *мы*, можно наблюдать у многих поэтов 1930-х гг. – например, у Ярослава Смелякова, который с легкостью чередует «партийное» *мы* Маяковского и почти совпадающее с ним по значению *я*, хотя у старшего поэта *я*, напротив, отсылает к подчеркнуто личным, биографическим обстоятельствам².

В «Юношеской поэме» (1931–1932) Смелякова выражается самоощущение молодого человека начала 1930-х. Поэма написана вскоре после самоубийства Маяковского, незадолго до Первого съезда советских писателей и за несколько лет до большого террора, одной из жертв которого стал Смеляков. Ее поэтический язык кажется общим для того времени: похожим образом писали и другие поэты рубежа 1920–1930-х гг., находившиеся в орбите официальной литературы того времени, – Павел Васильев, Борис Корнилов, Ольга Берггольц, и во многом здесь собраны многие общие места эпохи, на фоне которых, однако, доминирует тревожное чувство надвигающейся большой войны, где будет важно занять «правильную» сторону. Особая политика местоимений, присутствующая в этой поэме, позволяет прочертить границы между сторонами будущего конфликта и обозначить черты, объединяющие индивидов в коллективного субъекта, который может быть обозначен и как *я*, и как *мы*, ведь разница между этими двумя формами оказывается количественной, а не качественной:

И вижу – как птица,
взлетает плакат, на котором, как лозунг,
написано: «Каждый» (и я и другие),
«каждый трудящийся должен» (обязан)
«уметь стрелять». И уметь ненавидеть.
Тогда я смешаюсь с толпой, гудящей
счастливой кучкой причесанных парней,
увидю дощечку (плата за выстрел),
отдам, не задумываясь ни минуты,
звенящие радостью три монеты,
возьму ружье, заряджу, прицелюсь...
[Смеляков, 1934, с. 126]

Но в те же годы распространен и другой взгляд на коллективного субъекта – оставивший, как покажет время, заметный след в позднейшей поэзии. Он связан с одним из наиболее ярких поэтов 1920-х гг. Эдуардом Багрицким, в стихах которого травматическое наследие революции и Гражданской войны приводит к возникновению особого *мы* – коллективного субъекта, который объединяет всех людей с общим историческим опытом. Конечно, о необходимости общего опыта для построения коллективного субъекта говорил и эмпириомонизм Богданова, но с той разницей, что основой коллективности он полагал, в первую очередь, производимые серийно технические приспособления, в то время как для Багрицкого основа коллективности – это общая история, как правило, травматическая. При-

² Ср. лаконичное определение Р. О. Якобсона: «Если б *мы* вздумали перевести мифологию М[аяковско]го на язык спекулятивной философии, точным соответствием этой вражды была бы антиномия “я” и “не-я”» [Якобсон, 1979, с. 360–361].

чем к таковой могут быть причастны и те, кто активно участвовал в утверждении Советского государства, и те, кто, на первый взгляд, был лишь пассивной жертвой обстоятельств.

Багрицкий был поэтом *мы*, хотя в его случае это было совсем не такое *мы*, как в официальной или партийной риторике, и не такое, как в поэзии Маяковского, во многом к такой риторике близкой. По всей видимости, Багрицкий сознательно отталкивался от всех расхожих представлений о политической коллективности, стремясь наделить *мы* смыслом, который можно назвать *мессианическим* [Шолем, 2004, с. 359–397]. В одной из наиболее известных его поэм, «Смерть пионерки» (1932), написанной в те же годы, что и «Юношеская поэма» Смелякова, использование *мы* связано с «претерпеванием», «заброшенностью» коллективного субъекта в большую историю:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Структура *мы* здесь подчеркнута парадоксальна, причем несмотря на то, что «Смерть пионерки» долгое время входила в школьную программу и широко тиражировалась в самых разных формах, эта парадоксальность так и не была вполне осмыслена [Лекманов, Свердлов, 2017]. Это *мы* наделено мессианическими обертонами: оно потенциально охватывает всех людей, присоединяющихся к советскому проекту, но такое присоединение не обязательно предполагает активного участия и в некоторых случаях даже сознательности. Можно сказать, что это *мы* сообщества, объединенного мессианическим предчувствием и общим опытом, причем опытом, как правило, трагическим и болезненным. И если внешне такая коллективная субъективность похожа на «богдановское» *мы*, внутренне она довольно сильно от него отличается.

Такому *мы* была суждена долгая жизнь в русской поэзии. В 1950–1960-е гг. его возрождает Борис Слуцкий: основу его *мы* составляет фронтовой опыт, который более динамичен и диалектичен, чем опыт жертвенности у Багрицкого, с которым Слуцкий нередко ведет скрытую полемику [Grinberg, 2013, p. 101]. А в следующем литературном поколении такое *мы* находит воплощение в поэзии Виктора Кривулина и авторов его круга, которые во многом сознательно отталкиваются от Багрицкого и от поэзии 1920-х гг., но при этом сохраняют ключевые черты коллективного субъекта [Корчагин, 2018]. У Кривулина «претерпевающее» *мы* становится объектом государственных репрессий, но благодаря – именно благодаря – своей пассивной роли сохраняет ясное понимание исторических процессов и мессианическую надежду на грядущее избавление.

Таким образом, история поэтического *мы* полна разрывами: оно становится актуальным вместе с обновлением политической повестки и уходит в тень, когда эта повестка по тем или иным причинам перестает иметь решающее значение. Поэтому неудивительно, что новый эпизод возрождения *мы* связан с ренессансом политической поэзии в 2010-е гг. Субъективность в такой поэзии, как правило, строится на балансировании между различными инстанциями высказывания: в мире, где прямой политический призыв ощущается как невозможный и избыточный, она стремится адресоваться к политической повестке косвенным образом, каждый раз заново доказывая необходимость политического, практически

вытесненного из общественной повестки в 2000-е гг. Такая поэзия куда ближе к авангардным корням политического искусства, чем поэзия круга Кривулина, – она непосредственно вырастает из практик московского концептуализма, где любое высказывание подвергалось последовательному острашению и разложению, нередко ироническому. Но если в концептуализме ироническая рамка была необходима для того, чтобы «нейтрализовать» властный дискурс, «обезвредить» его, то в новой политической поэзии она, напротив, помогает воспринять сообщение напрямую, избавить его от дискурсивных наслоений и интерференций, препятствующих политической консолидации [Корчагин, 2013].

В начале 2010-х гг. в политической поэзии доминировали «постконцептуалистские» тенденции, связанные с именами Кирилла Медведева, Романа Осминкина и Антона Очирова, которые во многих отношениях были близки московскому концептуализму Дмитрия А. Пригова и Льва Рубинштейна. Для них политическое сообщение было возможно только после того, как все условности окружающего мира подвергнуты предварительному сомнению. Для *мы*, возникающего в такой поэзии была характерна принципиальная неопределенность: это своего рода *мы* «поиска», референт которого текуч и подвижен, а поэт словно бы перебирает все возможные варианты того, что может быть обозначено местоимением. Это и закрытое сообщество, и все граждане России, и даже всё человечество.

Особую остроту здесь приобретает богдановский вопрос о том, обладает ли такой коллективный субъект общим опытом, и если да, то какова природа такого опыта. В поэзии трех названных поэтов в целом доминирует ощущение, что опыт разных людей с трудом сочетается друг с другом, а следовательно, каждый раз нужно находить новые основания для общей политической программы:

А мы, левые, не чувствуем твердо никаких своих прав,
разве что эфемерное право на утопию,
многолетние разговоры о революционном насилии выморозили нашу кровь
и превратили нас
в чахлах устриц, не умеющих отстоять собственные права,
а тем более еще чьи-либо...
[Медведев, 2011, с. 8]

Но уже во второй половине 2010-х гг. ситуация меняется. Первая причина этого – в литературу приходит поколение, для которых поэзия Медведева оказывается уже почти классическим образцом: усилия по его канонизации предпринимает круг авторов и редакторов петербургского альманаха «Транслит», который регулярно в начале 2010-х гг. публикует материалы, связанные с деятельностью Медведева, и его новые стихи. Вторая причина в общем изменении социальной ситуации – в том, что прямая политическая повестка, вышедшая из тени после публичных акций 2011–2013 гг., к концу десятилетия стала самодостаточной и во многих отношениях респектабельной: именно политическая поэзия привлекает больше всего внимания экспертов – у ведущих авторов этого направления регулярно выходят книги, причем не только на русском, но и на других языках (книги Галины Рымбу на английском и голландском), у них берут интервью, им присуждают денежные, отнюдь не андеграундные премии (премия «Лицей» Оксане Васякиной). У таких авторов, как Галина Рымбу и Оксана Васякина, уже нет необходимости в системе оговорок, связанных с тем, почему именно они занимаются политической поэзией.

В такой новейшей политической поэзии *мы* также претерпевает существенную метаморфозу: референт для него найден – им становится сообщество, которое, впрочем, обладает размытыми границами. Это *мы* «консолидации», напоминающее неустойчивый гибрид прежнего «богдановского» *мы*, основанного на общем опыте, и «партийного» *мы*: участники сообщества по умолчанию обладают общим опытом, хотя бы опытом переживания общей политической повестки. Но так же, как это происходило в раннесоветской литературе, общего опыта оказывается недостаточно для консолидации: для нее нужно задавать и поддерживать границы. Отчасти с этим связано то, что наиболее консолидированная часть новой политической поэзии в той или иной мере принадлежит к феминистскому движению, и хотя само это движение очень широко и включает огромное количество разных групп и направлений (едва ли не больше, чем социализм начала XX в.), для новых политических поэтов общность задач пока еще преобладает над различиями в их понимании.

Один из наиболее тонких аналитиков сообщества Жан-Люк Нанси, описывая конституирующие его черты, говорит о утрате и смерти как о точке, вокруг которой вырастает сообщество – подобно жемчужине, возникающей вокруг песчинки [Нанси, 2009, с. 41–44]. Такая утрата, становящаяся в основание сообщества, фактически оказывается единственной связью, которая в самом деле скрепляет его членов. Философ, оспаривая марксистскую веру в коллективную идентичность (а вместе с ней и богдановскую веру в коллективного субъекта), не склонен видеть в сообществе действительное единство, где отдельные индивиды могли бы преодолеть свою частную индивидуальность. Он утверждает, что сообщество может быть очерчено только извне, но этот процесс осознания границ должно что-то запустить, должен возникнуть нарратив или миф о сообществе, в основании которого всегда лежит какая-либо невосполнимая утрата. И здесь можно видеть исток *мы* такого сообщества: *мы* – это те, кто рассказывает одну и ту же историю, где говорится об утрате чего-то (для *нас*) важного – об условной или буквальной смерти.

В советской поэзии 1920-х гг. *мы* также строилось вокруг смертей, как правило мученических: ряд мучеников, пострадавших за дело революции, был достаточно широк, в том числе в него входили все те, кто принес себя в жертву будущей революции, – этот ряд, как было сказано выше, составляет основу *мы* в «Смерти пионерки» [Лекманов, Свердлов, 2017]. Были такие мученики и у круга Виктора Кривулина: жертвы советской репрессивной машины. Но у политических поэтов начала 2010-х гг. своих мучеников, в общем, не было: возможно, именно в этом причина двойственности их политической повестки и той непрерывной самокритики, что осуществлялась непосредственно в стихах³. Следующее поколение политических поэтов отличается от поколения Медведева и Очирова тем, что объект такой утраты обрел для них определенность: это все те, кто пострадал от насилия, прежде всего межгендерного, но не только. Такие сюжеты часты в стихах Галины Рымбу, Оксаны Васякиной и других поэтесс этой формации: например, в цикле «Ветер ярости» Васякиной границы такого *мы* артикулируются четко и недвусмысленно, не оставляя пространства для сомнений:

³ Ср. крайне показательный цикл Романа Осминкина «бывает...»: «бывает захочешь написать о рабочем классе / придешь на завод / а там нету никакого рабочего класса / только хипстеры шарятся» [Осминкин, 2013, с. 8].

я хочу говорить

<...>

и не бояться
обвинения
изоляции
травли

<...>

как мы
поэтессы редакторки издательницы философини социальные исследовательницы
писательницы

<...>

можем говорить и не бояться
[Васякина, 2019, с. 143]

Если в «Ветре ярости» очерчиваются границы *мы*, то поэма «Когда мы жили в Сибири», напротив, показывает тех, кто остается внутри этих границ. Здесь возникает образ сибирского города, одновременно предельно абстрактный, напоминающий все другие российские индустриальные города, и предельно конкретный, насыщенный топонимами Усть-Илимска, родного города поэтессы. Поэма делится на несколько небольших неоднородных частей, в начале каждой из которых повторяется заглавная фраза «когда мы жили в сибире», словно бы каждый раз заново определяя границы *мы*. В каждой части определение дается заново, отчасти подтверждая, отчасти перечеркивая предыдущие попытки определить *мы*, так что во всей поэме доминирует спиралевидное, центростремительное движение, а *мы* имеет подвижную и текучую природу. Характер референции здесь двойствен: поэтесса вспоминает моменты из прошлого, но тут же сомневается – ее ли это память или память культуры, задающая рамку для восприятия всех российских городов и всего того болезненного опыта, с которым нередко сталкиваются их жители. Содержание *мы* тоже текуче: это и ближайшее окружение – мать и отец, и все дети Братска, и все его жители, и никто в отдельности: истории, составляющие *мы* этой поэмы, не сводимы в одну:

мы жили в этом смертоносном тесном краю
мы жили и видели ели мы собирали подснежники на горе
а когда спускали воду на гэс
мы смотрели на белую воду и на лицах она оставалась
сложной влагой забвения и боли
[Васякина, 2018]

Такое устройство *мы* вновь возвращает к «Смерти пионерки», где коллективная субъективность также складывается из разрозненных, противоречивых сюжетов. И так же, как в поэме Багрицкого, коллективность субъекта у Васякиной конституируется утратой, причем поэтесса употребляет именно это слово – не самое частое в русском поэтическом языке:

когда мы жили в сибире
мы жили в теле утраты
у моего отца не было рук
а у матери живота

и у всех утрата была
и саднила в неловком теле
[Васякина, 2018]

Завершая этот небольшой и далеко не полный очерк истории *мы* в русской политической поэзии, нужно сделать несколько выводов. Хотя коллективный субъект, обозначаемый этим местоимением, существовал в поэзии с давних времен, в XX в. он становится предметом полемики, порой достаточно ожесточенной – касающейся того, какой именно вид субъективности им конституируется. Особую роль в этом играет марксистская мысль, различные варианты которой предлагают разные сценарии для конструирования коллективного субъекта, причем эти сценарии в том или ином виде воплощаются в политической поэзии на протяжении всего XX в. независимо от того, присягает поэт марксизму (как сначала Багрицкий, Слуцкий и почти полвека спустя Медведев) или, напротив, демонстративно отворачивается от него (как Кривулин и отчасти Васякина). При этом за сто лет, прошедших с русской революции, новейшая политическая поэзия, изобретая коллективного субъекта, во многом приходит к тому же, что и поэзия первой четверти XX в., – к *мы*, основанному на общем опыте, прежде всего опыте утраты. Такое *мы* словно бы занимает промежуточную позицию между коллективным субъектом в эмпириомонизме Богданова, потенциально включающим всех людей, и «партийным» *мы*, строго соблюдающим границы заранее очерченного сообщества.

Список литературы

- Азарова Н. М. Об адресате, дискурсивных границах и субкоманданте Маркосе // Транслит. 2014. № 14. С. 66–70.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1974.
- Васякина О. Когда мы жили в сибире // Сноб.ру. 2018. 20 апр. URL: <https://snob.ru/entry/159991/>
- Васякина О. Ветер ярости. М., 2019.
- Вельмезова Е. В. История лингвистики в истории литературы. М., 2014.
- Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. М.; Л., 1947.
- Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1930.
- История понятий, история дискурса, история метафор / Под ред. Х. Э. Бедекера. М., 2010.
- Карпи Г. История русского марксизма. М., 2016.
- Ковенацкий В. Альбом стихов, рисунков и гравюр. М., 2007.
- Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис. М., 1986.
- Корчагин К. М. «Маска сдирается вместе с кожей»: способы конструирования субъекта в политической поэзии 2010-х годов // Новое литературное обозрение. 2013. № 124. С. 225–238.
- Корчагин К. М. Виктор Кривулин и Михаил Лифшиц: история, коллективность и литературный канон // Новый мир. 2018. № 8. С. 171–182.
- Левченко М. А. Индустриальная свирель: поэзия Пролеткульта 1917–1921 гг. СПб., 2007.
- Лекманов О., Свердлов М. Для кого умерла Валентина? О стихотворении Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки» // Новый мир. 2017. № 6.

- Медведев К. «Поход на мэрию» и другие стихотворения // Новое литературное обозрение. 2011. № 111.
- Мейлах М. Б. Даниил Хармс: последний петербургский денди [2006] // Мейлах М. Б. Поэзия и миф. Избранные статьи. М., 2018.
- Надточий Э. Об одном проигранном споре, или Ибн Рушд и большевики // Синий диван. 2017. № 22.
- Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество: Новое издание, пересмотренное и дополненное / Пер. с фр. Ж. Горбылевой, Е. Троицкого. М., 2009.
- Норман Б. Ю. Русское местоимение мы: внутренняя драматургия // Russian Linguistics. 2002. Vol. 26. No. 2. С. 217–234.
- Осминкин Р. Бывает... // Новое литературное обозрение. 2013. № 124.
- Ревзина О. Г. Системно-функциональный подход в лингвистической поэтике и проблемы описания поэтического идиолекта. М., 1998.
- Селищев А. М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком (1917–1926). 3-е изд. М.: Либроком, 2010.
- Смеяков Я. Стихи. М., 1934.
- Шолем Г. Основные течения в еврейской мистике. М., 2004.
- Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М., 1927.
- Якобсон Р. О поколении, растратившем своих поэтов [1930] // Jakobson R. Selected Writings. Vol. 5: On Verse, Its Masters, and Explorers. The Hague et al., 1979. P. 355–381.
- Grinberg M. “I Am to Be Read not from Left to Right, But in Jewish – From Right to Left”: The Poetics of Boris Slutsky. Academic Studies Press, 2013.

Article metadata

Title: We in Russian Poetry: From Avant-Garde to the Newest Political Agenda

Author: K. M. Korchagin

Author's e-mail: stivendedal@gmail.com

Author's affiliation: Vinogradov Russian Language Institute RAS

Abstract. The paper regards the specific use of pronoun WE in Russian poetry of the last century. This use is related to the deep immersion of a number of poets in the Marxian intellectual project. These poets may share its values (like Eduard Bagritskiy, Boris Slutskiy or, later, Kirill Medvedev) or distance themselves from it (like Viktor Krivulin or, in part, Oksana Vasyakina). In both cases, they exploit Marxian conceptual language and comprehend the poetic subjectivity through the prism of its agenda. For instance, Eduard Bagritskiy in his poetry created a specific WE uniting a tragic feeling of post-revolutionary epoch with enthusiastic impulse for searching the new world. This WE had to associate all the people of the new epoch who can share the importance and urgency of the current governmental construction. In his *Problèmes de linguistique générale*, Émile Benveniste distinguished two kinds of WE: “inclusive”, which attaches YOU to ME, and “exclusive”, which does THEY to ME. In early Soviet political poetry, there were two significant variants of the first Benvenistian WE, quite opposite to each other. The first one is a WE of (bolsheviks’) party referred to a close circle of individuals: in this case, YOU re-codes as multiplied ME which obtains a quite abstract

nature released from the elements of the individual experience. This conception echoes Aleksandr Bogdanov's study of the collective subjectivity developed in "empiriomonism" theory, which was a doctrine on the collective individual who constitutes him- or herself through a kind of shared experience and the organized labor. The Proletkult's poets led by Bogdanov himself developed the most straightforward interpretation of empiriomonism, although the later Soviet pre-WWII poetry was more delicate with this conception. Eduard Bagritskiy and some his contemporaries found a new basis for the collective experience: not in the organized labor but in the dramatic history of the recent past. Almost a century later, in the political poetry of 2010s, one finds similar trends. After "post-conceptualist" poetry of Kirill Medvedev, Anton Ochirov, and Roman Osminkin, a new generation enters the stage in the late 2010s. These new poets have partially returned to the Bogdanovian conception of the collective subjectivity. While creating a new collective subjectivity, they combine fragments from the WE of shared experience (although it is experience of loss instead of that of labor) and that of the party: they are ready to include every individual in the circle of the WE but tend to defend its borders from the external aggression (like in Oksana Vasyakina's poems).

Key terms: political agenda, Russian Marxism, Aleksandr Bogdanov, Eduard Bagritskiy, Kirill Medvedev, Oksana Vasyakina, modern poetry, pronoun "we".

Reference literature (in transliteration):

Azarova N. M. Ob adresate, diskursivnykh granitsakh i subkomandante Markose. *Translit*, 2014, no. 14, p. 66–70. (in Russ.)

Benvenist E. *Obshchaya lingvistika*. Ed. by Yu. S. Stepanov. Moscow, 1974. (in Russ.)

Grinberg M. "I Am to Be Read not from Left to Right, But in Jewish – From Right to Left": The Poetics of Boris Slutsky. Academic Studies Press, 2013.

Istoriya ponyatiy, istoriya diskursa, istoriya metaphor. Ed. by Kh. E. Bedeker. Moscow, 2010. (in Russ.)

Jakobson R. O pokolenii, rastrativshem svoikh poetov [1930]. In: Jakobson R. Selected Writings. The Hague et al., 1979, vol. 5: On Verse, Its Masters, and Explorers, p. 355–381. (in Russ.)

Karpi G. *Istoriya russkogo marksizma*. Moscow, 2016. (in Russ.)

Korchagin K. M. «Maska sdirayetsya vmeste s kozhey»: sposoby konstruirovaniya sub"yekta v politicheskoy poezii 2010-kh godov. *Novoye literaturnoye obozreniye*, 2013, no. 124, p. 225–238. (in Russ.)

Korchagin K. M. Viktor Krivulin i Mikhail Lifshits: istoriya, kollektivnost' i literaturnyy kanon. *Novyy mir*, 2018, no. 8, p. 171–182. (in Russ.)

Kovenatskiy V. *Al'bom stikhov, risunkov i gravyr*. Moscow, 2007. (in Russ.)

Kovtunova I. I. *Poeticheskiy sintaksis*. Moscow, 1986. (in Russ.)

Lekmanov O., Sverdlov M. Dlya kogo umerla Valentina? O stikhotvorenii Eduarda Bagritskogo «Smert' pionerki». *Novyy mir*, 2017, no. 6. (in Russ.)

Levchenko M. A. *Industrial'naya svirel': poeziya Proletkul'ta 1917–1921*. St. Petersburg, 2007. (in Russ.)

Medvedev K. «Pokhod na meriyu» i drugiye stikhotvoreniya. *Novoye literaturnoye obozreniye*, 2011, no. 111. (in Russ.)

Meylakh M. B. Daniil Kharms: posledniy peterburgskiy dendi [2006]. In: Meylakh M. B. *Poeziya i mif. Izbrannyye stat'i*. Moscow, 2018. (in Russ.)

Nadtochiy E. Ob odnom proigrannom spore, ili Ibn Rushd i bol'sheviki. *Siniy divan*, 2017, no. 22. (in Russ.)

Nansi Zh.-L. Neproizvodimoye soobshchestvo: Novoye izdaniye, peresmotrennoye i dopolnennoye. Transl. from Fr. by Zh. Gorbyleva, E. Troitsky. Moscow, 2009. (in Russ.)

Norman B. Yu. Russkoye mestoimeniye my: vnutrennyaya dramaturgiya. *Russian Linguistics*, 2002, vol. 26, no. 2, p. 217–234. (in Russ.)

Osminkin R. Byvayet... *Novoye literaturnoye obozreniye*, 2013, no. 124. (in Russ.)

Revzina O. G. Sistemno-funktsional'nyy podkhod v lingvisticheskoy poetike i problemy opisaniya poeticheskogo idiolekta. Moscow, 1998. (in Russ.)

Selishchev A. M. Yazyk revolyutsionnoy epokhi: Iz nablyudeniya nad russkim yazykom (1917–1926). 3rd ed. Moscow, Librokom Publ., 2010. (in Russ.)

Sholem G. Osnovnyye techeniya v yevreyskoy mistike. Moscow, 2004. (in Russ.)

Shpet G. G. Vnutrennyaya forma slova. Etyudy i variatsii na temy Gumbol'dta. Moscow, 1927. (in Russ.)

Smelyakov Ya. Stikhi. Moscow, 1934. (in Russ.)

Vasyakina O. Kogda my zhili v Sibiri. *Snob.ru*, 2018. April 20. URL: <https://snob.ru/entry/159991/> (in Russ.)

Vasyakina O. Veter yarosti. Moscow, 2019. (in Russ.)

Velmezova E. V. Istoriya lingvistiki v istorii literatury. Moscow, 2014. (in Russ.)

Vinogradov V. V. Russkiy yazyk: Grammaticheskoye uchenie o slove. Moscow, Leningrad, 1947. (in Russ.)

Voloshinov V. N. Marksizm i filosofiya yazyka. Leningrad, 1930. (in Russ.)